

АЛЕКСАНДР МОТОРИН

## ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ: ПУТЬ КО ХРИСТУ

*Оставь дела, мой друг и брат,  
И стань со мною рядом.  
Даль, рассечённую трикрат,  
Окинь единым взглядом.  
Да воспарит твой строгий дух  
В широком чистом поле!  
Да поразит тебя, мой друг,  
Свобода русской боли!*

Ю. Кузнецов

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II великий русский поэт Юрий Кузнецов (1941–2003) в 1998 году переложил стихами на современный язык самое раннее из сохранившихся и, пожалуй, самое яркое и возвышенное сочинение древнерусской словесности: “Слово о законе и благодати” святого митрополита Киевского и всея Руси Илариона. Написано сие “Слово” было между 1037 и 1051 годами, и полное название (начало) его звучит так: “О законе, Моисеем данном, и о благодати и истине, Иисусом Христом бывшии; и како закон отиде, благодать же и истина всю землю исполни, и вера в вся языки простресе и до нашего языка русского, и похвала кагану нашему Влодимеру, от негоже крещени быхом; и молитва к Богу от всеа земля нашеа”. А у Юрия Кузнецова переведено так:

*Речь о Законе в лице Моисея суровом,  
о Благодати и истине в сердце Христовом.  
Только Закон погребли преходящие годы,  
новая вера сошла, воскрешая народы,  
принял тогда и наш русский народ воскрешенье.  
Князю Владимиру наша хвала за крещенье,  
Богу молитва от русской великой земли.  
Господи, благослови!*

Переложение стихами усилило присушие “Слову о законе и благодати” ритм и одухотворенный лиризм. Сам Кузнецов потом вспоминал об этом своем деянии: “Подстрочный перевод “Слова о законе и благодати” митрополита Илариона сделал Дерягин. Я не владел старославянским. Десять лет он

лежал без движения. Затем я взялся и перевёл. Перевёл быстро, за десять дней. Вернее, моё “Слово...” – не перевод, не переложение, а со-творение. Иларион – ритор, а не поэт. Я вжился в текст, дал ему свой ритм, но он ведь всё равно за тысячу лет многократно менялся” (записано П. П. Чусовитиным).

Обращение к “со-творению” со святителем Иларионом было, конечно, не случайным, и не случайно замысел созревал десять лет. Современный поэт годами постепенно проникал сквозь почти тысячелетие напряженной русской истории, сквозь пространство державного строительства (от древней столицы, Киева, к новой – Москве) и восстанавливал значительно утраченную к середине XX века связь родной словесности с ее православным истоком, со всем духовным православным направлением, соединяющим череду культурных эпох.

“Слово...” святителя Илариона изображает движение человечества, народа русского и каждого прозревшего человека от мрака языческих блужданий к свету христианства.

По такому пути пошел и Юрий Кузнецов:

*Мы раньше молились не Богу,  
А пню среди тёмного дня.  
(“Деревянные боги”, 2003).*

Его поэзия – это постепенное, трудное, с неизбежными для мира сего заблуждениями возвращение к “Слову о законе и благодати” и движение дальше – в предназначенном свыше и предугазанном святителем Иларионом направлении: к благодати и свету Христовой Истины, к истинному просвещению народа. Лишь немногие проходят этот путь относительно далеко и прославляются Церковью как святые. Впрочем, за два тысячелетия собралось целое небесное воинство. Немало в сонме святых оказалось и поэтов – творцов боговдохновенных молитвенных песнопений. Примером для них стали царь-пророк, творец псалмов Давид и сама Богородица, воспевавшая хвалу Богу. По сути, поэтом был и митрополит Иларион.

Юрий Кузнецов не видел себя в этом сиятельном ряду. На вершине творческой зрелости он оценивал свои труды смиренно: “Моя поэзия – вопрос грешника. И за нее я отвечу не на земле”. В конце жизни поэт признался, что дар своего ясновидческого воображения обрел именно через покаяние: “В душе моей много грехов, но Христос отжал эти грехи, это очень страшно было. И мое воображение содрогнулось”.

В порывах покаянного художественного прозрения он даже видел себя низвергающимся до самых глубин ада, как признался в разговоре с В. Бондаренко: “В. Б. Видишь ли ты себя самого в аду? Ю. К. Еще как! В самом конце поэмы – “Мы оглянулись, и оба низринулись в ад...”. “Оба” – это с раскаявшимся разбойником, спутником поэта в его мистическом видении. Впрочем, в упомянутой здесь поэме “Сошествие в Ад” (2002), а затем в незавершенной из-за скоропостижной смерти поэме “Рай” (2003) автор видел и свое прощение Христом в числе некоторых других грешников, и вознесение с ними в Рай. Созерцая ад, постигал, каково там: “Я попал в Ад по своему поэтическому желанию”, – пояснил он замысел своей последней завершённой поэмы. Это было мучительным испытанием, чередой “кошмаров” вперемжку с кошмарными же вдохновениями:

*“Я раздувался, как труп, от гнетущего жара.  
Ужас загваздал меня, как болотная мшара.  
И почернел я, как ночь среди белого дня.  
— Господи Боже Исусе, помилуй меня!*

Спросишь, откуда такой опыт? Из моих кошмаров”.

В полном расцвете творчества и уже незадолго до смерти поэт собрал все лучшее из написанного в сборник и назвал его “Крестный путь” (сборник вышел уже посмертно с искаженным редакцией названием “Крестный ход”). Тогда же, на закате земной жизни, неожиданном для всех, но не для него, он окончательно понял и указал всем, что путь своего таинственного духовного восхождения начал рано: “Образ распятого Бога впервые мелькнул в моём стихотворении 1967 года – “Всё сошло в этой жизни и стихло”. Мелькнул

и остался, как второй план. Это была первая христианская ласточка. С годами налетела целая стая: “На краю”, “Ладони”, “Новое небо”, “Последнее искушение”, “Крестный путь”, “Призыв”, “Красный сад”, “Невидимая точка” и другие. После них я написал большую эпическую поэму “Путь Христа”. Это моя словесная икона. Последовавшая за ней поэма “Сошествие в Ад” – моё самое сложное произведение” (“Воззрение”, 2003).

Удивительное, необычное для XX века устремление светского, тем более, советского поэта к мистическим христианским видениям вполне проявилось и утвердилось, конечно же, не сразу. Казалось бы, откуда вообще такому настроению развиваться в душе, порывы которой изначально стирались бездуховным атеистическим воспитанием эпохи? Но предпосылки к тому были особые. Поэт родился накануне Великой Отечественной войны, 11 февраля 1941 года, и первые его сознательные впечатления совпали с общим содроганием души народа, оказавшегося на краю гибели. В такие времена воскресает народообразующая вера, каковой для России издревле стало Православие. Известно, какую свободу вероисповедания народ получил от государства в годы войны: открывались храмы, было восстановлено патриаршество. Впрочем, если бы этой внешней поддержки и не было, ничто бы не смогло в лихую годину сдержать покаянные порывы каждой души к Богу. И детская душа Юрия в первые пять лет жизни – самые важные для становления личности – конечно же, развивалась под влиянием возрождающейся народной веры. В ту пору примером и словом, несомненно, воздействовала на него бабушка, о которой он вспоминает в 2001 году: “Умерла в 1952 году и похоронена на тихорецком кладбище. Это была набожная старушка. Благодаря ей сестра и я были крещены в тихорецкой церкви”. Крещение произошло в Тихорецке, видимо, в 1944-м, вскоре после гибели отца на фронте под Севастополем. Близко знавший поэта и отслуживший литию на его свежей могиле во время похорон священник Владимир Нежданов свидетельствует в воспоминаниях: “Однажды Юрий Поликарпович вспомнил свою бабушку, как она любила собирать своих подруг у себя дома, читать Псалтырь, как в детстве она часто водила его с собой в храм на Святое Причастие, – правда, тут о. Владимир печально добавляет: – В этом месте его рассказа я говорил ему с горячностью: “Вот бы и вам теперь поисповедоваться, причаститься!”. Он же с мягкой нетерпеливостью перебивал: “Ладно, ладно” – дескать, потом или в другой раз поговорим об этом...”. Кроме влияния бабушки были, конечно, иные, противонаправленные: прочие родственники, школа, вуз. Это ведь и о себе поздний Кузнецов пишет:

*Кто на веру из нас не тяжёл!  
Кто по деду из нас не безбожник!  
(“Икона Божьей матери”, 1996).*

Собственное признание Кузнецова по вопросу о вере во время встречи с читателями в 1991 году, с одной стороны – слишком раннее, относящееся к началу его заключительного духовного поворота, а с другой стороны – уже и вполне православно-покаянное: “Верите ли вы в Бога?” Я не утратил психологию православного человека. Так как я продукт безбожной эпохи, то, лгать не буду, церковь я посещаю редко. Свечку ставлю – и всё. Я не хожу на службы. И я не хочу лгать. Но учёные люди, то есть люди, разбирающиеся в стилях, говорили, что моя поэтическая система допускает присутствие высшего начала”.

Однажды Юрий Кузнецов даже заметил, что поэт не может быть вполне православным, но само рассуждение звучит опять же православно: “Поэзия, конечно же, связана с Богом. Другое дело, что сама по себе религия, и особенно религия воцерковленная, может существовать без поэзии, в то время как поэзия без религиозного начала невозможна. Поэт в своём творчестве выражает всю полноту бытия, не только свет, но и тьму, и потому ему трудно быть вполне ортодоксальным, не в жизни, конечно, а в поэзии”; на вопрос, – “возможно ли понятие “православный поэт” в строго догматическом смысле слова, Кузнецов ответил: “Это бессмыслица. Но, как мы уже говорили, поэзия связана с Богом, и прежде всего с Христом, ибо Он есть Слово. Мне хочется надеяться, что поэтическое творчество всё-таки богоугодно. Недаром в лучших своих образцах поэзия очень похожа на молитву”.

Священнослужители оценивали его поздние, по сути, христологические творения очень по-разному. Отец Владимир Нежданов вспоминает: “Не всё духовенство восприняло его новые поэмы о Христе, и Юрий Поликарпович болезненно это переживал. Ныне покойный, праведной жизни протоиерей отец Димитрий Дудко говорил, что это неприятие от непонимания, не надо мешать поэту идти своим путём познания Бога”.

Сам поэт в ответ на упреки пытался объяснять свои взгляды и творческое направление. Откликаясь в начале 2000-х на споры вокруг его трилогии о Христе, в частности – на разговоры, будто Церковь эти поэмы отвергает, он в беседе с адыгским писателем Исааком Машбашем сказал: “Это искажённые слухи. Не все иерархи читали. Да, читал и возмущался настоятель одного храма – бывший актёр. Увы, не все священники знакомы со святоотеческой литературой, и, к сожалению, они совершенно не понимают природу поэзии. Разумеется, религия может прожить без поэзии. У служителей культа можно заметить сухость религиозную. Но если взять псалмы или пророка Исаию. Это высокая поэзия. А они не чувствуют поэзию, видимо, читают псалмы как прозу. Не дано”.

Пожалуй, самое проникновенное определение сущности художественного направления Юрия Кузнецова в его поздних поэмах дал глубоко воцерковленный филолог, а впоследствии священник, И. Б. Ничипоров: “Творческое “я” поэта, бесконечно чуткое к звучанию Христова Логоса, подвижимо внутренним стремлением продлить это звучание в своей душе, наполнить им живой “организм” поэмы. <...> поэзная трилогия Ю. Кузнецова о Христе явилась уникальным в современной духовной культуре опытом творческого проникновения в надвременно-мистическую и социально-историческую составляющие Богочеловеческого бытия Спасителя”. Став через несколько лет доктором филологических наук и священником, отец Илия подтвердил и усилил свою оценку. На вопрос: “А что Вы думаете вообще о современной поэзии? Что Вам кажется в ней заслуживающим внимания?” – он ответил: “Появляются новые интересные имена, явления. Но если говорить о наиболее значительных поэтических исканиях и прозрениях в сфере духовной культуры, то я бы выделил завершённую в 2003 г. поэдную трилогию Юрия Кузнецова “Путь Христа”.

Озирая все творчество Юрия Кузнецова, можно сказать, что, несмотря на внутренние противоречия и внешние препятствия, он прошел по пути ко Христу, по пути православного художественного видения мира, быть может, дальше всех писателей-современников. Однако противоречий, препятствий было много, и движение совершалось с трудом.

В мелькающих событиях, образах Кузнецов ищет и находит общение душ, приводящее в природе к соединению, срастанию всего со всем:

*Через толпу наискосок,  
Как искра, пробежит цветок.  
Вниманья знак? Души привет?..  
Благоухает, гаснет след.  
<...>  
Жар мать-и-мачехи блестит  
И мелко воздух золотит.  
И золотится эта ветка  
В объёмной мысли человека.  
И обернулись тишиной  
Души сомненья и тревоги.  
Я шёл. Травой пропахли ноги  
И стали, собственно, травой.  
Легко, свободно было там,  
Где я читал стихи цветам.  
(“Цветы”, 1972).*

Сливаясь в пантеистическом экстазе с душой всего мира, душа поэта вдохновляется, вбирает в себя всю эту бесконечную бездну и становится ее голосом:

*Всё розное в мире — едино,  
Но только стихия творит.  
Её изначальная сила  
Пришла не от мира сего,  
Поэта, как бездну, раскрыла  
И вечною болью пронзила  
Свободное слово его.*  
(“Стихия”, 1979).

Лирический пантеизм во всех его переливах унаследован Юрием Кузнецовым от магической ветви русского романтизма XIX века, и поэт вполне осознавал свой источник: “Тютчевская дремота пантеична” (“Воззрение”, 2003). Позже он узрит в аду (в поэме “Сошествие в Ад”) своего вдохновителя по части пантеизма – Тютчева, причем посчитает, что тот достоин наказания именно за пантеизм (а также за прелюбодеяние как производное пантеистического типа сознания). Насколько справедлива такая оценка художественного направления и судьбы великого Тютчева – другой вопрос.

К середине 1970-х устоявшийся пантеистически осмысленный образ мира начинает постепенно меняться под веяниями библейского духа, которые поэт пытается пересадить на славянскую мифологическую почву. В поэме “Золотая гора” (1974) изображается христианское пробуждение души героя (а вместе с тем и самого автора)

*Не мята пахла под горой  
И не роса легла,  
Приснился родине герой.  
Душа его спала.*

*Когда душа в семнадцать лет  
Проснулась на заре,  
То принесла ему извет  
О золотой горе <...>.*

Здесь появляется не свойственная пантеизму тоска по бессмертной личной душе: “Душа без имени скорбит”. Посреди еще сказочно-мифологического языческого мира неожиданно посещает догадка: “Не Сатана сорвал ли злость?”.

Появляется в “Золотой горе” и Бог – уже личный, к Которому можно молитвенно обращаться:

*Безмерный подвиг или труд  
Прости ему, Отец,  
Пока души не изведут  
Сомненья и свинец.*

Впрочем, мистические веяния еще зыбки, переменчивы. Поэт тогда едва миновал таинственный рубеж 33 лет, и он видит себя “На повороте долгого пути, У края пораженья иль победы”. Он пока еще неуверенно ступает на этот неведомый путь, что позволяет проникать в глубины народной души, в глубины таинственной жизни Отечества, его истории и праистории. Этот путь – мифотворчество, художественное проникновение в суть бытия и при том – словесное миротворение, то ли самовольно-магическое, то ли смиренно-христианское, совершаемое в сотворчестве с Богом-Творцом. В этот переходный период обе творческие установки – магически-языческая и мистически-христианская – обычно сосуществуют, выражаясь либо в отдельных стихотворениях, либо даже внутри одного произведения:

*Я помню вечную швею  
Среди низин и дыр.  
В моё ушко продев змею,  
Она чинила мир.*

*Я прошивала крест и круг  
И тот и этот свет,  
Меняя нитки, как подруг,  
И заматывая след.*

(“Игла”, 1978).

Крест и круг в обновляющемся мировоззрении Кузнецова — это два символических образа соответственно христианства и язычества.

Язычество, обреченное на бесконечную дурную повторяемость бытия, выражалось, например, с привлечением мифов о первочеловеке:

*Отпущу свою душу на волю  
И пойду по широкому полю.  
Древний посох стоит над землей,  
Окольцованный мёртвой змеей.*

*Раз в сто лет его буря ломает.  
И змея эту землю сжимает.  
Но когда наступает конец,  
Воскресает великий мертвец.*

*— Где мой посох? — он сумрачно молвит,  
И небесную молнию ловит  
В богатырскую руку свою,  
И навек поражает змею.*

*Отпустив свою душу на волю,  
Он идёт по широкому полю.  
Только посох дрожит за спиной,  
Окольцованный мёртвой змеей.*

(“Посох”, 1977).

К этому времени Кузнецов начинает постепенно понимать суть древних мифов и нового мифотворчества, сначала возрожденного романтиками начала XIX столетия, а потом продолженного писателями Серебряного века. Венец теории мифа поэт нашел в трудах А. Ф. Лосева, в частности, в книге “Диалектика мифа” (1930). Поначалу он не видит особой качественной разницы между христианским (шире — библейским) и языческим мифотворчеством, однако с годами библейское осознает как первичное и высшее: “Народ творит устами поэтов. А первый поэт — это сам Бог. Он сотворил мир из ничего и вдохнул в него поэзию. Она, как Дух, уже носилась над первобытными водами, когда человека еще не было. Потом Бог сотворил человека из земного праха и вдохнул в него свою малую частицу — творческую искру. Эта Божья искра и есть дар поэзии. Обычно этот дар дремлет во всех людях, как горячее вещество, и возгорается только в тех, кому дано “глаголом жечь сердца людей”. Пламя поэзии бушует в устном народном творчестве, в псалмах, в речениях пророков (все пророки были поэтами), в гимнах Ригvedы, в русских былинах. В меру этого дремлющего дара люди чувствуют поэзию в природе, в земле, в воде, огне, воздухе, в земледельческом труде, в душе и натуре человека, и всюду, где есть упоение: во хмелю, в бою, и “бездны мрачной на краю”, и даже в такой абстракции, как числа. Творцами мирового эпоса были певцы. Естественно предположить, что первыми певцами были ангелы. Они пели хвалы Богу. <...> Люди же на земле пели гимны богам, творили мифы и сказки. Мифическое сознание неистребимо. Народы мира донныне живут мифами, даже ложными, вплоть до газетных “уток”. Об этом сознании лучше всех сказал А. Ф. Лосев, глубокий знаток мифа: “Для мифического сознания всё явлено и чувственно ощутимо. Не только языческие мифы поражают свежей и постоянной телесностью и видимостью, осязаемостью. Таковы в полной мере и христианские мифы, несмотря на общепризнанную и несравненную духовность этой религии. И индийские, и египетские, и греческие, и христианские мифы отнюдь не содержат в себе никаких специально философских и философско-метафизических интуиций или учений, хотя на их основании возникали

и могут возникнуть соответствующие философские конструкции. <...>” (“Диалектика мифа”). И далее поэт рассуждает о себе: “Я осваиваю поэтическое пространство в основном в двух направлениях: народного эпоса (частично греческого), русской истории и христианской мифологии. <...> Я долгие годы думал о Христе. Я Его впитывал через образы, как православный верующий впитывает Его через молитвы”.

Себя Кузнецов мыслит как мифотворца, знающего тайну словесного миротворения: “Итак, миф не выдумка и не ложь. К настоящему мифу нужно относиться серьезно. Мифическое сознание в русской словесности проявлялось по-разному. <...> Я поэт с резко выраженным мифическим сознанием. <...> Первые стихи написал в девять лет и долго писал просто так, не задумываясь, что это такое. Я зачитывался русскими сказками, а потом набросился на сказки других народов. Все они оказали на меня глубокое влияние. Именно народные архетипы и бродячие сюжеты сформировали мою душу. Классическая поэзия отшлифовала только её грани. <...> В моих стихах много чего есть: философия, история, собственная биография, но главное – русский миф, и этот миф – поэт. Остальное – легенда”. Миф в душе поэта рождается так: “Всё, что касалось меня, я превращал в поэзию и миф. Где проходит меж ними граница, мне как поэту безразлично. Сначала я впитываю мир и вещи мира, как воду губка, а потом выжимаю их обратно, но они уже становятся другого качества”.

Одним из источников мифотворческого сознания для Кузнецова стала книга А. Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу (в 3-х томах, 1865–1869), которую он даже выпустил в издательстве “Современный писатель” в 1995 году. Воздействие этого труда он начал испытать раньше, с конца 1960-х: “В 1967 году у меня наконец прорезалось мифическое сознание в “чистом виде”. <...> Так я открыл свою поэтическую вселенную. К этому времени я прочитал три тома А. И. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу” и уверился в себе” (“Воззрение”, 2003). В книге Афанасьева, точнее, в раскрытой там сокровищнице славянской мифологии молодой поэт увидел источник своего поэтического вдохновения: “<...> мои критики, находясь в магическом плену книжных ассоциаций и соображений литературного момента, утратили ключи к старым ценностям; в этом случае я бы посоветовал прочесть А. Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу”, возможно, три его тома дали бы кое-какое представление о народной символической, которую Бог надоумил меня взять для стихов”.

В языческой мифологии поэта особенно влекли образы кругового движения, основанного на повторе развития: “Историческое мышление человека разорвано и не улавливает связи начала и конца. Формально человек установил эту связь, когда спутники Магеллана обогнули Землю и окончили свой путь в начальной точке. Кругосветное путешествие – формальный образ вечного возвращения. Земля круглая – это похоже на ловушку. Как тут не вспомнить Мировое Яйцо и даже старые бесполезные споры, что было раньше: яйцо или курица? <...>. Кстати, “начало” и “конец” – слова одного корня, раньше было одно слово, выражающее цельное представление. Оно осталось невидимой точкой, вокруг которой вращаются представления начала и конца. Когда-то из этой точки вышли космогонические мифы о Мировом Яйце и Мировом Древе, которое тоже круглообразно. (Абрис корневой системы и кроны)”.

Свой врожденный ясновидческий дар Кузнецов объяснял отчасти в духе языческих мифических представлений, отчасти по-христиански: “”Будьте как дети” – это сказано давно и навек. Я помню, что в раннем детстве смотрел на взрослых со странным удивлением. Для меня они были людьми иного мира. Часто на мои вопросы они отвечали загадочно: “Много будешь знать – состаришься”. Я не мог понять, как это произойдет: неужели внезапное превращение? <...> Во мне рано обнаружилась одна особенность: в ребёнке, в его младенческих чертах я угадывал, каким он станет в старости, а в старике – наоборот. Наблюдая людей, я развил эту способность и мог видеть человека сразу в полном объёме, от рождения до смерти. Поэтому-то в моих стихах много детей и стариков, много связующих начал и концов”. Кроме очевидной отсылки к евангельским словам Христа о детях (24Мф. 18:2; 19:14), здесь заметно влияние М. М. Бахтина, который построил свою теорию карнавальности мировой культуры на осмыслении пантеистической природы языческой мифологии, творящей образы единства начала и конца, жизни и смерти.

В поэме “Сошествие во ад” поэт показал, что Христос разомкнул круг языческой мифологии с ее дурным вращением бытия: “Славен Господь! Он взломал колесо возвращений”. Особенно ярко и символично это свершилось при освобождении Сизифа от языческого заклятия, по которому тот должен был вечно вкатывать камень на гору:

— *Это Сизиф! — я воскликнул. И вздрогнул Сизиф,  
И обернулся. Воистину, жизнь — это миф!*  
— *Ухнем, Сизиф! — крякнул я, и вкатили мы вместе  
Камень на гору, и камень остался на месте.  
И улыбнулся Христос и во славу Свою  
Молвил Сизифу: — И ты скоро будешь в Раю.  
Жди не вечернего знака... — Сизиф преклонился  
Так, что огнём в одну сторону ад преломился.*

\* \* \*

В пределах нехристианского магического духовного мировосприятия все просто: художник не только причастен божеству, но и сам божество в миг вдохновения, ибо божество (иногда в обличье того или иного языческого бога) творит через него и тогда ему все позволено, границ его воображению нет. Он может созидать целые воображаемые и в духовном смысле действительные миры, населять их вымышленными людьми, ковать цепи любых событий, вовлекать в эти миры действительно существующих или существовавших людей, влиять на их жизнь, по сути — прописывать их судьбы.

Духом магического творчества проникнуты древние мифы, их отзвуки в сказках. Это понимание художественной словесности Кузнецов хорошо освоил и применял в своем раннем и начальном зрелом творчестве. Однако с течением лет, особенно с 1990-х годов, по мере углубления в православное мировидение, поэт начал понимать ограниченность и опасность магического словотворчества.

На самом переходе к православному слову он иронически изображает оставляемую им (не без сожаления!) словесную жизнотворческую магию, видит, как она пронизала собою весь мир, все человеческие души, так что вся жизнь человеческая пузырится магией совместного воображения:

*Мир звенит пустыми пузырями  
Праздных грёз и дутого стекла,  
Мыльными мгновенными шарами,  
Что пускают слава и хвала.*

*Наложу печати и запреты,  
Только ничего не говори,  
Потому что дети и поэты  
Всё же верят в эти пузыри.*

(“Пузыри”, 1988).

С мистической православной точки зрения, художнику слова запрещен произвольный вымысел, самочинно творящий небывалые лица и события. Нарушение этого запрета сродни первородному греху, попытке стать “как боги”, — по слову змия-сатаны (Быт. 3:5). Но художник, подобно Адаму в Раю до грехопадения, может быть сотворцом своему Богу: “И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его” (Быт. 2:15), причем художник слова может давать имена творимым от Бога существам, то есть может соучаствовать в определении их сущности, а значит, в их созидании (Быт. 2:1). Силою воображения художник видит то, что открывает ему Бог в Своем миротворении, и выражая свое видение словесно, он “воображает” увиденное, по древнему смыслу этого слова: придает увиденному овеществленные образы таинственной силой богоданных слов. Так силою сотворческого Богу человеческого воображения зиждется и расширяется пространство бытия, включая в себя не только неуловимые миги



настоящего, но и расширяющиеся пространства прошлого и даже возможного будущего, заключенного в Промысле Божиим о мире и открываемого ясно-видению пророков-художников. Смиранный вдохновенный художник видит то, что открывает ему Бог в прошлом и будущем, видит глубинный смысл потоков настоящего и передает все это в образах другим людям, приумножая разнообразие богоданного мира, существующего и во времени, и в надвременной вечности.

Состояние вдохновенного ясновидческого сотворчества с Богом Кузнецов передавал так:

*В самую тьму мы направились, следуя Богу.  
Внутренний свет выявлял где угодно дорогу.  
Из ничего проступали цвета и тона,  
Звуки и запахи. Я им давал имена.*

(“Сошествие в Ад”).

С Богом Рай везде, и утраченная в грехопадении Адамова райская способность сотворчески давать имена восстанавливается в душе поэта даже при сошествии со Христом в ад. Вдохновение поэта от Духа Свята, как и его общение со Христом – Божественным Словом – это и есть приближение к Богу, а значит – к былому райскому состоянию души.

Главная установка православного мистического словотворчества – обращение к Богу за помощью во смирении и любви, а значит – отказ от произвольного, самочинного, гордого вымышления, воображения, созидания бытия за Бога и вместо Него. Такое греховное созидание мыслится губительным для души богоборчеством, и плоды его расцениваются как мнимые, призрачные, вводящие художника и его поклонников в прелесть, приятное, но смертоносное заблуждение.

Главная трудность православного мистического словотворчества – это правильное осознание и осуществление своего сотворческого смирения перед Богом при одновременном распознании вездесущей гордости воображения и уклонении от нее. Православный художник слова непрестанно стремится к различению поддерживающей благодати Духа Свята и всегда обольщающих, обстоящих бесовских внушений, наущений, прелестей – нечистого демонического вдохновения, именовавшегося у древнерусских книжников “бесовским мечтанием”.

На пути мистического творчества много преткновений и ловушек, о которых духовные подвижники знали с древнейших времен. Православные книжники старались избегать произвольной игры воображения, искали и ожидали высший творческий дар – вдохновение от Духа Свята, благодатную поддержку духовных сил небесных – Богородицы, ангелов, святых. Без такого благодатного ясновидения прошлого невозможно было бы увидеть его живой целостный образ, а значит, невозможно было бы создать ни одного жития святого, ни одного летописного сказания, ни одной былины. Без такого благодатного ясновидения нельзя также описывать сиюминутное, но всегда ускользающее за пределы восприятия настоящее, и, тем более, – будущее, которое открывается в духовных видениях.

Кроме постоянной сотворческой Богу и часто незаметной работы ясно-видческого воображения в обычных видах словесного творчества, есть еще могучее проявление этого воображения в особом роде духовных, словесно запечатляемых развернутых видениях, где в свете вечности созерцается и прошлое, и настоящее, и будущее (порою – в сочетании времен). Церковь с большой осторожностью относится к таким изображаемым словесно видениям, но понимает их возможность, даже неизбежность и пользу в том случае, когда их источником становится Бог, действующий на душу художника прямо либо же при посредстве Его святых сил. Самое известное и внушительное среди таких признанных Церковью видений – “Откровение” (“Апокалипсис”) апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Не случайно в конце Евангелия, написанного им, оставлены слова: “Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь” (Ин. 21:25). Бытие Бога непостижимо и неохватно. Частично оно является в видениях, чудесах, которые, даже воспринимаясь чувственно, остаются духовными. Живой длящийся опыт богообщения может

записываться бесконечно. Сам апостол Иоанн Богослов оставил пример такой записи в своем “Откровении”, завершающем по воле Церкви канонический евангельский свод.

Именно на признанных Церковью видениях поздний Юрий Кузнецов учился видеть и отображать богоданный мир в его прошлом, настоящем и будущем. Поэт проникся духом видений апостола Иоанна, и вслед за апостолом он видит мир под знаком движения в Концу Света и Страшному Суду. По завершении поэмы “Рай” он надеялся написать еще и “Страшный Суд”.

По вере Кузнецова поэт в своих смелых созерцаниях неизбежно отрывается от обыденного человеческого сознания, предстоит Богу, и Судьей ему становится Бог, позволяющий общение с Собою: “Поэт, переживая, вживаясь в образ Христа, приближаясь к нему своим воображением, сам обо всем догадывается. Тут даже не у кого спрашивать совета. У духовника? Но кто ему даст ответ? А поэту дано внутреннее духовное зрение”.

В последние годы своей жизни Кузнецов старался постичь, чем подлинные видения отличаются от ложных, однако понимал и то, что различить их с полной уверенностью для человека с несовершенной духовной жизнью просто невозможно. Основа для подлинного различения была ему известна: непрестанное покаяние перед Богом во смирении и любви. За три дня до смерти он написал стихотворение “Молитва” (8 ноября 2003) в котором устами святого подвижника, обращавшегося к Богу, выразил суть смиренного покаяния: “Ты в небесех – мы во гресех – помилуй всех!”. Сам поэт постоянно молился Иисусовой молитвой и многократно повторил ее в поэме “Сошествие в Ад”: “Господи Боже Иисусе, помилуй меня!”.

К осмыслению сущности творческого ясновидения Кузнецов начал подступать довольно рано. Уже в речи на IV съезде писателей РСФСР в 1975 году он обозначил главную цель поэзии: “<...> уже лет двадцать в поэзии царит быт... А ведь назначение поэта в том и состоит, чтобы за поверхностным слоем быта узреть самое бытие”.

Пройдя долгий путь самопознания, поэт выразил природу своих духовных видений, то есть суть своего творчества, как живое смиренное общение со Христом – Богом-Словом, изрекшим Себя в начале Евангелия от Иоанна:

*Я сплю на Слове. Каюсь, Боже!  
Чудно сияет это ложе.  
Оно из молнии и грома,  
Из толщи звезд и невесомо.  
Лежу с открытыми глазами,  
Как жертва перед небесами.  
И пью из Твоего дыханья  
Сладчайшие благоуханья.  
Во мне струятся сны простые —  
Оранжевые, золотые.  
А пробуждение другое —  
Зеленое и голубое.*

(“Ложе сна”, 2001).

Постижение неразрывного единства творческого ясновидения, вещей снов и даже обычных снов проходит через всю зрелую поэзию Кузнецова. Осмысление этого единства выразилось в беседе поэта с критиком В. Бондаренко о поэме “Сошествие в Ад”: “В. Б. Несколько раз у тебя проскакивает: “И задремал во мгновение века сего...” И еще: “Жестко я спал, разметавшись во всю круговерть...”, “Я проснулся в тревоге...” Когда ты просыпаешься, где ты оказываешься? Переходишь из одного сна в другой? Поэма как система сновидений? Ю. К. Сны – тоже реальность, но особого рода. В моем творчестве много сновиденческих образов. В поэме сны не раскрыты, кроме двух, но это всего восемь строк. Мне приснился вертящийся глобус, “земля без небес” и сон Льва Толстого. Я даю возможность будущим поэтам написать остальные мои сны. Хотя бы сон в ожидании Христа – Он вот-вот выйдет из могильной пещеры. Мне, наверно, не какие-нибудь пустяки снились”.

Часто поэтические видения, то есть собственно духовная жизнь поэта, совершаются в привычном и доступном для большинства людей проявлении –

в сновидениях, и они так же записываются стихами, причем для поэта действительность, действенность этих снов-видений, так же, как и видений-яви, бесконечно сильнее яви обыденной, увязшей во плоти:

*Туча в сумерки. Буря огня.  
Тьму свою отдаю ради света.  
Я летаю во сне, и меня  
Люди сна ненавидят за это.  
<...>  
Вижу свет, он как будто зовет,  
Но туман продолжает сгущаться.  
Обрывается плавный полет.  
Тьма и трепет. Пора возвращаться!*

*...Подле вялого тела жена  
На постели сидела вдовою.  
— Что с тобою? — кричала она  
И трясла то, что было не мною.  
(“Ад над нами”, 1993).*

Люди в мире Кузнецова общаются через свои сны. Степан Разин в аду говорит поэту: “Где-то я видел твой сон? Признавайся, казак!..” (“Сошествие во ад”).

В видениях, как во снах, могут созерцаться любые времена: далекие, близкие, прошедшие, будущие, сиюминутно летящие – и протяженность времени не имеет значения, ибо в духовном созерцании осуществляется вечная жизнь, не причастная смерти:

*Сотни бед или больше назад  
Я вошёл в твой огонь, Сталинград,  
И увидел священную битву.  
Боже! Узы кровавы твои.  
Храм сей битвы стоит на крови  
И творит отступную молитву.  
<...>  
Начинается битва, где смерть —  
Явь и правда особенной жизни.  
(“Из сталинградской хроники. Посвящение”, 1995).*

Юный Христос во сне видит Свою божественную сущность:

*Отрок тринадцати лет улыбнулся во сне.  
Отроку снится: он — Бог, он — Сиянье сияний,  
Он — Красота красоты, он — Зиянье зияний.  
Он может всё... Он не может почти ничего!  
Он — человек, плоть зыбучая мира сего.  
(“Путь Христа. Часть 2. Юность”).*

В полусонных видениях воспринимают Христа Богородица, Мария Магдалина. Вознесение Богородицы совершается во сне-яви (без границы между плотью и духом). Условность границы между сном и явью переживают стражники:

*Люди Пилата пещеру три дня сторожили.  
Снился им сон. Светлый ангел явился во сне,  
Камень толкнул и на камне сидел в тишине.  
Стражи в пещеру вошли и проснулись от страха:  
Тело исчезло. Следа не осталось от праха.  
(“Путь Христа. Часть 3. Зрелость”).*

И, конечно, весь мир – видение Бога:

*Видал Христос Утешителя скорбных людей:  
Он над водою носился, как пух лебедей.  
Видал Христос на мгновенье, что мира короче,  
Дьявола, спадшего с неба, как молнию ночи...*  
(“Путь Христа. Часть 3. Зрелость”).

В потрясающих по размаху видениях трех своих последних поэм: “Путь Христа” (2000 – 2001), “Сошествие в Ад” (2002), “Рай” (2003, не завершена) – Кузнецов предается созерцанию вечности в самом смелом и чреватом духовной прелестью осуществлении: он зрит земную жизнь Христа, общается с Ним, спускается с Ним во ад и возносится в Рай. События человеческой истории соприсутствуют пред Лицом Бога, но и пред лицом боговдохновенного поэта, и даже перед лицом каждого человека, который, часто не замечая того, пользуется в меру своей веры и чистоты этой богоданной тайной бытия даже в каждодневном быту: вспоминая прошлое и предполагая будущее. В ясно-видческом вдохновении по благодати Бога время и пространство соприсутствуют Вечности. Поэту-пророку открывается и суть сей тайны:

*Молния духа в расщелину времени бьёт.  
Вызвал Христос во мгновение сна из былого  
Тень Моисея и молвил раздумное слово <...>.*  
(“Путь Христа. Часть 3. Зрелость”).

Ведение надвременного единства бытия передается от Бога избранным людям, и на ясновидческих высотах оно почти нестерпимо:

*Вижу всё дальше! Открылось мне зренье такое.  
Сердце, ты страждешь! О, сердце моё ретивое,  
Если не вынесешь мук и двужильных страстей,  
Ангел не сыщёт нигде моих белых костей...*  
(“Сошествие во ад”).

В таком состоянии душа поэта прорывается из времени в Вечность и может пребывать везде. В разговоре с В. Бондаренко поэт поясняет свое духовное соприсутствие при отдаленных событиях как нечто редкое, но по сути естественное и необходимое в жизни верующего человека: “Во второй части поэмы “Юность Христа”, в Кане Галилейской, я сам был на свадьбе, был незримо, это видно по тексту поэмы. Ты мог бы задать вопрос: тебя же видели, подала невеста сама тебе, земному поэту, чашу. Разумеется, во имя Христа. Это значит, что поэт узрел Бога. А ты задаешь вопросы о Христе: почему? Христос везде присутствует в этих поэмах, пронизывает все пространство”.

Время по благодати Божией упраздняется, и поэту открывается возможность соприсутствовать евангельским событиям.

*Светлый Христос побледнел от высокого гнева.  
То не конь-блед через горный махнул частокол —  
Это Христос мимо времени бровью повёл,  
И торгашей окатил взором неба, как варом,  
И опрокинул столы и прилавки с товаром,  
Клетки разбил и на волю пустил голубей:  
— Это же ангелы ваших грядущих скорбей!..*  
(“Путь Христа. Часть 3. Зрелость”).

Поэта нисколько не смущает, что в разрывах вдохновения для стяжания его новой волны он пользуется разного рода сведениями, которые потом, по возвращении вдохновения, питают огонь его воображения. Так, по свидетельству отца Владимира Нежданова, в “Сошествии в Ад” появились с некоторым запозданием пророк Иоанн Креститель и великомученик Меркурий: “Однажды я дерзнул его поправить: “А где же у Вас, Юрий Поликарпович, в поэме пророк Иоанн Креститель?” – увы, великий святой не был помянут в ней в сонме других святых. “Как нет?!” – Кузнецов даже как-то слегка опешил,

удивился и задумался. И за считанные дни он восполняет этот пробел. В другой раз показал ему в Житиях святых отрывок, где говорится о подвиге святого великомученика Меркурия, римского воина, пострадавшего за веру Христову. Этот святой на поле боя поразил копьём императора Юлиана Отступника, гонителя христиан. Юрия Поликарповича поразило здесь то, что этот святой, изображённый на иконе, исчезает из неё на время боя, совершает подвиг и возвращается в икону, но уже с окровавленным копьём. Чистая поэзия и в кузнецовском ключе! И в кратчайшие сроки поэма уже дополнена новыми строками”.

Работа, предваряющая накат вдохновения, может быть натужно-рассудочной. Скульптор П. П. Чусовитин записывает признание Кузнецова: “Продолжаю писать “Ад”. Кажется, придумал Наполеону достойную его бессмертия страшную казнь... Читал “Молот ведьм”... Ты не помнишь, как устроен “испанский сапог”?”

Постепенно складывался в видениях поэта образ ада. П. П. Чусовитин свидетельствует: “23 декабря 2001 звонил Кузнецов. Спрашивал, нельзя ли представить ад в виде лабиринта, и просил сохранить разговор в тайне”. Позднее, в записи от 16 декабря 2002 скульптор передает прямой речью слова Кузнецова о завершении поэмы: “Поставил последнюю точку 24 октября... От пространственной модели ада как лабиринта пришлось отказаться из-за тесноты, отсутствия простора. Мой ад – это долина, сень. Нет, я посетил ад не как турист, я там действую...”

Почти как шутка воспринимаются некоторые признания поэта о населении его ада различными историческими лицами (надо, впрочем, сделать поправку на то, что свидетельствует, быть может, с обострением выражений, явно ревнующий к его славе скульптор Чусовитин): “Многих в поэме нет. Нет ни одного архитектора, скульптора, художника... Я подумывал о Леонардо да Винчи... Улыбка Джоконды, пожалуй, тянет на ад, но вот написалось, как написалось... без неё...”. Однако поэт не шутил.

На пути видений неизбежны заблуждения, ошибки, как и вообще в жизни человека. Давид-псалмопевец изрек: “Всяк человек ложь” (Пс. 115:2). Но Христос сказал: “Невозможное человеку возможно Богу” (Лк. 18:27).

Вся поэзия Кузнецова – череда духовных ошибок попеременно с духовными прозрениями. То и другое он выражал необыкновенно ярко. Право и обязанность поэта предаваться творческому ясновидческому вдохновению и при том не бояться неизбежных искушений Кузнецов отстаивает, в частности, в споре-видении с выдающимся богословом XIX столетия святителем Игнатием Брянчаниновым, который в письме 1847 года, переданном Гоголю через П. А. Плетнева, упрекнул позднюю книгу Н. В. Гоголя “Выбранные места из переписки с друзьями” в недостаточной чистоте вдохновения: “Правда, есть у человека врожденное вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина отвергает сие вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтоб Дух, пришедши, воскресил его обновлением состояния. Если же человек будет руководствоваться прежде очищения истиною своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый: потому что в сердце его лежит не простое добро, но добро, смешанное со злом, более или менее. Применив сии основания к книге Гоголя, можно сказать, что она издает из себя и свет и тьму”. В споре со святителем поэт становится на сторону Гоголя, возражавшего на суждение святого Игнатия в письме П. А. Плетневу от 9 мая н. ст. 1847 года. Спор разворачивается в одном из последних стихотворений Кузнецова “Поэт и монах” (1 и 5 ноября 2003):

*То не сыра земля горит,  
Не гул расходится залесьем, —  
Поэт с монахом говорит,  
А враг качает поднебесьем.  
Монах недавно опочил.  
Но сумрак, смешанный со светом,  
Его в дороге облачил,  
И он возник перед поэтом.*

Монах вещает нечто уничтожительное для души: “Вся жива — сон. Готовься к смерти”. То есть земная жизнь призрачна и, по сути, надо с ней покончить. На земле смешение добра и зла, света и тьмы и одно от другого не очистить, иначе как отбросив эту жизнь, потому что она и так смерть — в этой “монашеской” логике легко прочитывается антихристианская гностика, родственная по пантеистической основе буддизму и внушающая жажду высвобождения безликих частиц божественного света, заточенных в человеческой плоти и вообще в темнице мира сего:

*В отмирном самоотверженье  
Я умерщвляю плоть, и кровь,  
И память, и воображенье.  
Они затягивают нас  
В свистящий вихрь земного праха,  
Где человек бывал не раз,  
Был и монах — и нет монаха.  
<...>  
В искусстве смешано твоём  
Добро со злом и тьма со светом,  
Блеск полнолуния с божеством,  
А время старости с последом.  
<...>  
Не мысли, не желай — и ты  
Достигнешь высшего блаженства  
<...>  
Искусство — смрадный грех,  
Вы все мертвы, как преисподня <...>.*

Поэт, напротив, отстаивает творческую свободу в борьбе за добро, в желании творчески преобразовать этот мир и прежде всего — преобразовать себя:

*Искал я святости в душе  
И думал о тебе порою.  
И вот на смертном рубеже  
Явился ты передо мною.  
Признайся, что не любишь ты  
Мечты, любви и красоты,  
Запросов сердца и ответов.*

В доказательство божественной силы поэзии и богоподобия истинных поэтов привлекаются слова Державина:

*А мощь Державина! Вот слог:  
“Я царь — я раб — я червь — я Бог!”.*

И за этими строчками слышится “Слово о законе и благодати” святителя Илариона, где о двуединстве природ во Христе сказано (в переложении Кузнецова) так:

*Как человек, принял уксус и дух испустил,  
солнце затмил и потряс эту землю, как Бог.  
Как человек, был положен во гроб, и, как Бог,  
ад разгромил Он и вызволил души на свет.*

Поэт помнит о немощах человеческой природы и отстаивает свое право и даже обязанность изображать с помощью Бога этот падший мир ради его просвещения и улучшения. Он объясняет свое творческое стремление на основе православного богословия, оправдывая двуединство духовно-материального мира, созданного Богом-Творцом и освященного, очищенного жертвенным боговоплощением, вочеловечением Христа:

*Искусство смешано. Пусть так.  
 Пусть в нашем поле плевел много.  
 Но Богу дорог каждый злак.  
 Ведь каждый злак — улыбка Бога.  
 А ты готов всё поле сместь  
 За то, что плевелы в нём есть.  
 Не слишком ли ты судишь строго?  
 Что ж остается нам, творцам?  
 <...>  
 Ты умерщвляешь плоть и кровь,  
 Любовь лишаешь ощущенья.  
 Но осязательна любовь,  
 Касаясь таин Причащенья.  
 <...>  
 Так умертви свои уста,  
 Отвергни боговоплощенье,  
 Вкушая плоть и кровь Христа  
 И принимая Причащенье!*

В итоге оказывается, что прав именно поэт, поскольку под видом монаха ему явился и искушал его лукавый дух:

*При грозном имени Христа,  
 Дрожа от ужаса и страха,  
 Монах раскрыл свои уста —  
 И превратился в тень монаха,  
 А тень ослабленного рта —  
 В свистящую воронку праха.  
 И смешаны во прахе том  
 Добро со злом и тьма со светом.  
 И ходит страшным ходуним  
 Свистящий прах перед поэтом.  
 Под ним сыра земля горит,  
 И гул расходится залесьем.  
 — Смотри, — поэту говорит, —  
 Как я качаю поднебесьем.*

*Поэт вскричал: — Да это враг! —  
 Окстился знаменным отмахом —  
 И сгинул враг, как тень, в овраг...  
 Но где монах? И что с монахом?*

Мысль о неизбежном смешении в искусстве тьмы со светом утверждает-ся “монахом”, но по сути подтверждается и поэтом, только с противополож-ной положительной оценкой, и вообще она не раз выражается Юрием Кузне-цовым в творчестве, закрепляясь и благословляясь, наконец, устами Самого Христа как поэта (“временами”) в “Сошествии в Ад”:

*Молвил Христос: — То, что видишь, — обман и подделка.  
 Выпукло видишь, да только ни крупно, ни мелко.  
 Вот что ты знаешь: поэт — это солнце и тьма.  
 В этом ты прав. Но окстись на вершине ума.  
 Бог может только всего человека заметить,  
 Даже не глядя. — Мне нечего было ответить.  
 — Вот что я знаю ещё, — я промолвил. — Христос  
 Тоже поэт. — Временами! — Господь произнёс  
 И, поглядев на меня, покачал головою:  
 — Прав ты в одном. Остальное пусть будет со Мною.  
 В сердце поэта есть тьма, но не самая тьма.  
 Если б ты видел всю правду, сошел бы с ума...*

Полная тьма – небытие, пребывающее в сатане, как пояснил Кузнецов в разговоре с В. Бондаренко: “Это Христос говорит: “В сердце поэта есть тьма, но не самая тьма”. В самой тьме находится Сатана. А тьма в сердце поэта... Надо полагать, она та же, что и в Пушкине”.

В “Поэте и монахе” раскрывается главная опасность творческих видений – возможность ложных вдохновений от лукавых духов. В стихотворении это искушение с трудом, но преодолевается. Однако всегда ли так происходит? Конечно, нет. Кузнецов это понимает, но отстаивает право художника на свободную борьбу со злыми духами при поддержке Бога.

В лекции для студентов Литинститута “Ложь и обман как категории поэзии” Кузнецов напомнил: “Отец лжи – дьявол; откуда произошло искусство – от Бога или дьявола?” – здесь ясно указаны два противоположных и притом главных источника вдохновляющих внушений.

Каждый человек претерпевает непрерывные духовные искушения, подобно юному Иисусу в поэме “Путь Христа. Часть 2. Юность”:

*Отрок пятнадцати лет проходил стороной.  
С правой руки Дух Святой, его ангел-хранитель,  
С левой руки дух лукавый, его искушитель.*

Победа дерзновенного творца в духовной борьбе отнюдь не predeterminedлена свыше. Возможность подпадения губительному искушению изображена в стихотворении “Невидимая точка” (2001). Здесь словно бы торжествует точка зрения лукавого лжемонаха, представляющегося неким богом и внушающего поэту самоуничтожение в пору временно подступившего отчаяния:

*Смешалось всё и стало бесполезно.  
Я растерял чужое и своё.  
В незримой точке зазияла бездна —  
Огонь наружу вышел из неё.*

*И был мне голос. Он как гром раздался:  
“— Войди в огонь! Не бойся ничего!”  
— А что же с миром?” — “Он тебе казался.  
Меня ты созерцал, а не его...”*

*И я вошёл в огонь, и я восславил  
Того, Кто был всегда передо мной.  
А пепел свой я навсегда оставил  
Скитаться между солнцем и луной.*

В поэме “Сошествие в Ад” Спаситель временами предупреждает поэта о мнимых видениях (“Это подобье! – промолвил сурово Христос”). В аду, в области и власти нечистых духов, царят видения, внушаемые ими. Эти видения образуют особую призрачную область действительности, ибо и сам ад, как область зла, причастен небытию и вечному умиранию. В “Слове о законе и Благодати” святителя Илариона (в переложении Кузнецова, близком подлиннику) сущность внушений нечистых духов именуется “ложным виденьем”, “привиденьем пустым”. Однако это все-таки род действительности, которая может заражать живые души смертельной болезнью вечного умирания.

Возможность ложных, прельстительно-губительных внушений, приходящих извне, поэт познал уже в юности: “11 октября 1967 года я сидел один, грезил наяву и что-то писал. Вдруг стук в дверь. Оборотась, кричу: “Войди, если не сатана!” Вошёл студент и говорит: – Собралась круглая компания. Мы пригласили девиц из города, но один из нас отключился, и вышла недостача. Ты свободен? – Я готов, – и пошёл за ним. Вошёл и вижу: четыре девицы, трое наших, четвёртый спит, и я, опять же четвёртый, готов и спрашиваю: – Которая красавица? – Это я, – отвечает одна и улыбается. Была не была! Хлопнул стакан водки, потом ещё, музыка играет, мы танцуем. Окно стало вечереть. “Здесь ничего не видать, – замечаю, – пойдём, я тебе покажу свою комнату”. Она согласилась: была подвыпимши. Едва мы вошли, я запер дверь и ключ в карман. <...> осмелел, хочу поцеловать её в губы. “Нет”, –



говорит она на мою смелость и вьётся, как змея, даже лица не разглядеть. “Это куда не годится!” — говорю, обидевшись. И опять то смею, то робею. Ничего не выходит. Мне даже в голову громом ударило. “Или — или!” — кричу. “А что такое?” — спрашивает она и смеётся. Я говорю: “Или я прыгаю из окна!” Она стала, подбочась, и делает ручкой: “Ну так прыгай”. Я распахнул окно, вскочил на подоконник и глянул вниз. До земли далековато: шесть этажей. Но отступить от слова было нельзя, и я прыгнул. Конечно, я немного схитрил и прыгнул вдоль стены — на водосточную трубу, до которой был добрый шаг от окна. Я схватился за водосточную трубу, но не удержался и, обдирая рукава и брюки, стремительно полетел вдоль трубы вниз. На уровне четвёртого этажа (я успел это заметить) моя нога застряла в узком промежутке между стеной, скобой и трубой. Я провис так, что моя застрявшая ступня оказалась выше головы. Я не мог выпрямиться. Я поглядел на землю, и мне стало безразлично. Руки разжались, и я полетел вниз головой на асфальт и подвальную решётку, примыкавшие к стене. Почему я не разбился, никто не знает. <...> Недели через полторы меня выписали из больницы. Но всё же кто меня спас?..” (“Очарованный институт”).

Воспоминание символично раскрывает позднейшее понимание поэтом духовной подоплеки пережитого смертельно опасного искушения. Присказка “Войди, если не сатана!” — отсылает к евангельскому образу горницы души, в которую может входить не только Бог, но и нечистые духи. Выпитая водка (спирт, “спиритус” — лат. “дух”) означает, что лукавый дух все-таки вошел в душу, а красавица, которая “вьётся, как змея”, знаменует сатанинский оттенок этого духа, что закрепляется и силою нечистого внушения: “Мне даже в голову громом ударило”. В итоге поэт, побывавший на границе жизни и смерти, понимает, что жизнь ему сохранил, конечно, не сатана (источник смерти), а Бог.

Потом в автобиографической прозе Кузнецов не раз с пугающей достоверностью передаст вторжение потустороннего духовного бытия в приземленный быт души: “стуками”. Случай в дублинской гостинице), “голосами” (“Худые орхидеи”), причем вторжения эти были явно недобрыми, наводящими тоску, внушающими самоубийственные настроения: “<...> они (ирландцы. — А. М.) до сих пор слышат голоса эльфов. Кельтская старина гласит, что эльфы бывают светлые и тёмные. Голоса тёмных эльфов наводят на людей порчу и смерть. Наверное, одного такого тёмного эльфа занесло бурей в окно дублинской гостиницы, и я до сих пор слышу, как он дёргается и стучит за дверью, из-под которой дует” (“Случай в дублинской гостинице”).

Пережитое состояние белой горячки (временное беснование, с мистической точки зрения) Кузнецов разительно раскрыл в повести “Худые орхидеи”. Скульптор П. П. Чусовитин записал его сопутствующее признание: “Теперь не буду пить до самого 60-летия. Допился до глюков. И постоянно слышатся голоса <...> Вызывают на спор. Но я-то уже учёный. В прения с ними не пускался”.

Так и в поэтическом вдохновении Кузнецов порою слышит обитателей иного, недоброго мира: “Заговорили голоса из бездны <...>” (“Голоса”, 1984).

Ведением о возможности лукавых змеиных искушений-внушений определяется рассуждение поэта об особенностях своего вдохновения: “Конечно, в своей лирике я выражал себя. Но не только. Я часто глядел на себя со стороны. <...> Моя мысль большей частью всегда оставалась “за” словом. Мне хватало сноровки схватить словом только хвост мысли, а силы хватало на то, чтоб удержать её за хвост. “Мысль изречённая есть ложь”. Вот эта ложь и есть хвост мысли, а сама мысль трепещет и рвётся за пределами слова. Хорошо, если эта мысль — жар-птица, а ну как — змея: обернётся и ужалит из своей трансцендентности!..”.

Возникновению ложных видений могут способствовать всегда присущие человеческой природе тщеславие, гордость, которые, с мистической точки зрения, как раз свидетельствуют о вхождении в душу помыслов от лукавых духов. Эти душевные качества, несомненно, мешали поэту постоянно сохранять чистое духовное ведение — мешали даже в конце жизни, в пору работы над “Сошествием в Ад”. П. П. Чусовитин передает его похвальбу (пусть и не совсем пустую): “Я всё равно сейчас из-за экзаменов в литинституте нахожусь в Москве. Уже две недели из-за ихних дипломов и прочей гадости вылетело! Надо, понимаешь, отзывы сочинять... А я “Ад” пишу. Уже одну треть написал. Пора, пожалуй, Данте отодвинуть в сторону с его политическим памфлетом

<...>. Данте 12 лет писал, а я за полгода своротил!.. Небо — ключ, земля — замок... Это результат многолетнего изучения мирового фольклора...”.

Слышание голосов составляет самую суть пророческого ясновидения. В видениях сущность духовных существ выражается именно в голосах, а не в видимости:

*Я оглянулся. Где ангел? — Я здесь, — он ответил.*

*— Так покажись. Я твой образ имею в виду.*

*— Голоса будут довольно. Я рядом иду...*

(“Рай”, 2003).

Как и все сущее, в вечном духовном мире, по вере Кузнецова, некогда возникшие голоса хранятся и сосуществуют. Ничто возникшее не пропадает. Так Адам на возвратном пути из ада в Рай слышит свой древний, прозвучавший при изгнании из Рая голос:

*Замер Адам и услышал рыдающий голос —*

*Так на ветру осыпается зернами колос.*

*Голос все громче звучал, все сильнее трепетал.*

*— Это мой голос! — Адам наконец прошептал. —*

*Я в первый раз зарыдал в этой бедной долине,*

*Он сохранился с тех пор и рыдает поныне.*

*Плач покаяния! Как утешал он меня,*

*Отблеск блаженства навеки в душе сохраняя.*

*Впадины есть на Земле, где годами хранятся*

*Гласы былого и могут опять повторяться.*

*Так и возник из былого мой голос живой,*

*Снова пронзил, как под сердце, удар ножевой...*

*И, словно эхо, на голос изгнанника Рая*

*Сонмы святых зарыдали, его повторяя.*

*Вздрогнуло сердце! Рыдай, моя лира, рыдай!*

*Плач покаяния есть возвращение в Рай.*

(“Рай”, 2003).

В целом Кузнецов не придавал большого значения опасности ложных видений, считая их неизбежной частью духовной борьбы: “Ошибок я не боюсь и переписывать поэму (“Сошествие в Ад”. — А. М.) не буду. Пускай живет сама по себе”.

От некоторой неразборчивости и беспечности в распознавании видений, их происхождения и качества, проистекают спорные места в его последних поэмах, например, повествование о земной любви юной Марии Магдалины ко Христу и отвержение этой любви Им, что послужило причиной ее позднейшего впадения в блудный грех, а затем — покаяния, очищения и духовной любви к Спасителю — уже в соответствии с евангельским рассказом. Так же вызывает сомнение рассказ о ранней встрече юного Иисуса с разбойником, который в дальнейшем будет распят рядом со Христом уже соответственно Евангелию.

Такой полет воображения вызывал возражения у части читателей, среди которых были и священники. В ответ Кузнецов оправдывал свои творческие порывы: “Вводить в жизнь Христа любовную линию — безумие для богослова, но не для поэта. Поэт всегда прав — эту истину я знал давно. Я ввел любовную линию, чем оживил поэму”.

Обобщенно на подобные упреки ответил хорошо знавший поэта священник Владимир Нежданов: “Есть разные пути к Спасителю, и кому-то он открывается через посредство красок, другому — посредством слова... А ведь Кузнецов нигде не искажает догматов, не отходит от канона... Он даже говорил мне сам (я его не спрашивал об этом): “Ну вот, как я представляю себе божественность Спасителя?... В нём было соединено — не слить, не разорвать — божественное и человеческое начало. И всё это — как качающийся маятник. То божественное приближалось к человеку — то удалялось...” Даже как-то жестом руки он показал этот маятник, что это всё — не разорвать, не слить... И это действительно так. Он это всё знал. Читал или не читал, — но он ни разу нигде не сказал какую-то еретическую в христианском смысле вещь.

Всё согласовано. И когда он пишет, что присутствует в Кане Галилейской на браке, он делает это совершенно как поэт, и этому веришь! Конечно, поэт может воображением переместиться в любой мир. Поэтому упрёки все эти, которым он подвергся, они несправедливы. И про пощёчину Марии тоже... Это не принципиально всё, не касается главного. Важно в главном иметь единомыслие, а во второстепенном можно спорить... Апостол Павел говорил о том, чтобы в главном не было расхождений”.

Много читательских недоумений вызвали образы самых разных знаменитых людей в аду. Очень сомнительно размещение там Гоголя, Тютчева. Да и всех остальных, пускай даже очень грешных людей. Насколько вправе поэт предаваться таким созерцаниям? Но он так видел и находил себе оправдание: “И попали они у меня в ад за прегрешения перед Богом. Тютчев – за пантеизм и прелюбодеяние, Гоголь – за чертовщину, а Данте – за великую гордыню”. Конечно, некоторые в ответ обвиняли самого Кузнецова в “великой гордыне”. Надо, однако, помнить, что Кузнецов различал переходный “ад”, где пребывают души грешников до Страшного Суда, и окончательный “Ад”, куда попадут все непрощенные грешники после воссоединения с телами и Страшного Суда. На различие адских пространств прямо указано:

*Это трещала развязка поэмы, не боле.  
— Кит погружается! — молвил Христос. — Свят, свят, свят, —  
Молвили ангелы, — ад погружается в Ад!*  
(“Сошествие в Ад”).

Впрочем, многие возражения критиков отпадут, если они не будут искать в христологических поэмах Кузнецова “Нового Евангелия” или “Откровения”, отчего неустанно предостерегал сам поэт.

Тем, кто вообще отвергал возможность словесного изображения Христа в поэмах, Кузнецов отвечал так: “<...> моя поэма, де, – это ересь. Им ли это говорить?! Они сами иудействующие, потому что впадают, сами того не ведая, в ересь иконоборствующих, которая с ходу ведёт в иудаизм с его запретом изображения. Это они еретики, а не я. Вот о чём нужно говорить. О культуре. Но у критиков моей поэмы нет культуры”.

Изображение богочеловеческой двуприродности Христа представляло особую сложность. Поэт выбрал мерцательное изображение: когда больше проявляется человеческая природа Сына Божьего, чаще звучит имя Иисус, и личное местоимение пишется со строчной буквы; когда преимущественно является Его божественная природа – звучит имя Христос, и личное местоимение пишется с прописной буквы. Такое разделение закрепляется устами Самого Христа:

*Времени мало, а дел у Христа очень много.  
Он возгласил на Голгофе печально и строго:  
— Прямо над нами закончились ветхие дни  
Для Иисуса... Вы дальше пойдёте одни.*  
(“Сошествие в Ад”).

Сам Кузнецов такой способ изображения Богочеловека особо пояснил: “Православие говорит, что в Христе человек и Бог неслиянны, но составляют одно целое. Сия истина выше человеческого разумения. Как христианин, я ее принимаю на веру. В поэмах Бог и человек в Христе пульсируют. Я это выразил образом маятника – качанием головы. Христос часто качает головой. Такова амплитуда маятника: то Иисус, то Христос. В первой поэме (имеется в виду “Путь Христа. Часть 3. Зрелость”. – А. М.) **Бог-Отец решил испытать человеческую часть Христа на крайний предел. Святой Дух перенес Христа в пустыню и оставил его (именно его, а не Его) наедине с дьяволом. Тот стал искушать Христа. Только на третьем искушении Христос понял, что остался один – просто человек, без Божьей ипостаси. Как только он выдержал третье испытание, к нему мгновенно вернулась Его Божья ипостась, и Он тут же испепелил дьявола. Во второй поэме (“Сошествие в Ад”. – А. М.), если ее читать внимательно, тоже видно, когда в Христе проявляется человекье, а когда Божье. Например:**

*Бог огляделся во тьме и нахмурил чело...*

Тут, конечно, Бог. Только Бог может видеть во тьме. Сколько бы человек ни оглядывался во тьме, он ничего не увидит”.

Поэзия для Кузнецова — это прямая связь души с Богом, Который бесконечно премудр и непостижим. Бог — тайна, а потому и поэзия непостижима: “Поэзия не поддается определению. Она тайна. Легче схватить момент ее зарождения. <...> Человеческое слово — дар Божий” (“Воззрение”, 2003). Бог — Сам Поэт, то есть “Творец” в переводе с греческого. В поэтических вдохновениях, в видениях, исходящих от Бога, человек может улавливать лишь часть божественной Истины бытия, о чем предупреждает Христос своих спутников в аду:

*— Вот вам известность! — Он встал на обрыве крутом  
И начертал карту ада горящим перстом  
Прямо на воздухе. Вот она, Божия милость!  
Звёздная карта мерцала, горела, дымилась  
И трепетала, как утренний пар над рекой.  
Тут я услышал: — Лови! Только левой рукой!  
Остановил я виденье, плывущее мимо.  
Полной рукою схватил я от звёзд и от дыма.  
Пальцы разжал, а в ладони порожня весть:  
— Нет ничего! — И услышал: — А всё-таки есть.  
Хватит того, что поймал. — Но поймал я, однако,  
Только морщины, как с неба круги Зодиака.  
Бог усмехнулся: — А ты угадал невзначай.  
Только поймал ты иные круги, так и знай,  
И на ладони твоей не морщины, а карта,  
Правда, не вся, но и часть пригодится до завтра.*

Споры о духовных достоинствах и недостатках поэзии Юрия Кузнецова могут длиться бесконечно. Ясно одно: поэт не стремился создавать магические апокрифы, вроде тех гностических творений, которые были отречены Церковью в первые века, а напротив, в зрелом своем творчестве он боролся с магией, в особенности с гностикой, и свой незавершенный, оборванный смертью “Рай” по сути знаменательно завершил строками:

*Встретились в Риме однажды мудрец и святой,  
И завязался конец между ними такой:  
— Эй, Поликарп! Ты меня узнаешь? — молвил гностик,  
И задрожал его дух, как над пропастью мостик.  
— Я узнаю сатанинского первенца. Сгинь! —  
Так Поликарп Маркиону ответил. Аминь!  
Каждое слово его как звенящая медь,  
Каждое слово сбылось или сбудется впредь.*

Помянутый здесь Маркион — один из самых знаменитых гностиков, а борющийся с ним священномученик Поликарп, епископ Смирнский — ученик апостола Иоанна и учитель известного противника гностиков святителя Иринея Лионского. Священномученик Поликарп — небесный покровитель отца поэта, а по ранней смерти отца в бою — и покровитель самого Юрия Поликарповича. Священник Владимир Нежданов, общаясь с поэтом, заметил: “Из святых нередко поминал ещё священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, знал его житие, — потому что это святое имя носил его отец”.

Работая над “Сошествием в Ад”, Кузнецов признался в 2002 году П. П. Чусовитину: “Когда было написано уже около трёхсот строк, я вдруг испугался, что умру и поэма останется незаконченной <...> Всё время думал, только бы не умереть, только бы не умереть”. По завершении поэмы он почувствовал, что замысел должен развиваться: “Потребность в равновесии требует создания к поэме “Сошествие в Ад” уравнивающего продолжения под названием “Рай”. Поскольку в православии чистилища нет, то,

по всей видимости, окончательная композиция будет не трилогией, а дилогией”. И хотя его последняя поэма внешне выглядит незавершенной, он успел высказать в ней все, что мог сказать о Рае.

Мелькал в его душе замысел еще одной поэмы: “Страшный Суд”. Отец Владимир Нежданов вспоминает: “Дерзновение поэта было великое, как и помощь от Бога – великая. Помню последнюю нашу встречу – за неделю до смерти поэта. Мы вышли из редакции “Нашего современника”, был осенний вечер. Только что Юрий Кузнецов читал мне недоконченную поэму “Рай”. И, прощаясь, вдруг остановился и спросил: “Знаешь, что последует за этой поэмой?” И, не дожидаясь ответа, выдохнул мне в лицо: “Страшный Суд!” Это были его последние слова в ту последнюю нашу встречу...”

Однако содержание новой поэмы должно было стать таким, каким и стало в свете поэтики вечности и духовной действительности: раб Божий Георгий отправился на малый страшный суд над своей душой, чтобы потом ожидать со всеми усопшими большого Страшного Суда над всем миром. Судя по воспоминанию жены поэта Батимы, отправление в пространство этой последней поэмы было спокойным и благостным. Кончина застала дома, когда поэт, как обычно, собрался на работу. Отец Владимир Нежданов передает: “А это ведь в сердце у поэта уже было, он жил уже ощущениями горнего, высшего. Ведь не случайно, Батима рассказывала, что когда он уходил, умирал, она спросила: “Юра, что с тобой?”. А он говорит: “Домой. Мне надо домой” (скорее!). Всё-таки – это поразительно, стал собираться на работу, а промолвил: “домой!”... То есть он был уже готов уйти...”

Пространство Вечности издавна стало домом для Юрия Кузнецова. Он входил в этот дом с каждым порывом вдохновения и огорчался, выходя обратно:

*Странно и сладко звучат не вечерние звоны.  
Солнце садится, и тени ложатся на склоны.  
Сладко и больно последние листья ронять.  
Я возвращаюсь за письменный стол — умирать.  
Отговорила моя золотая поэма.  
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.  
Боже, я плачу и смерть отгоняю рукой.  
Дай мне смиренную старость и мудрый покой.  
(“Сошествие в Ад”).*

И вот наконец поэт вошел в свой вечный дом, чтобы уже не возвращаться в поток времени, но, уходя, оставил открытый вход для всех читателей – свою поэзию.

.....

**Исполнилось 65 лет Александру Никитичу СЕВАСТЬЯНОВУ. Человек разносторонних дарований, пламенный публицист, серьёзный учёный, один из создателей русской этнологии, Александр Никитич заслужил признание коллег и читателей. Редакция с удовлетворением отмечает, что Александр Севастьянов ни одно десятилетие плодотворно сотрудничает с “Нашим современником”. В ближайших номерах журнал намерен опубликовать новую работу юбиляра.**

**Редакция**